

НИТЪ

РАСПЛАТА

Приход:
достаточно

Расход:
все



ЕЛИЗАР АНДЕРСОН

Елизар Андерсон

Нить: Расплата

«Автор»

2026

Андерсон Е.

Нить: Расплата / Е. Андерсон — «Автор», 2026

Книга спросила поимённо: «Джек Браун. Приход: достаточен. Расход: всё. Срок: одно новолуние». Джек ответил «плачу» — и получил двадцать девять дней, чтобы узнать, чем платили до него. Четыре держателя до него заплатили четыре цены: первый — семьёй и семьёю секундами, вторая — тридцатью годами себя, третий — побегом, четвёртый — тысячей смертей. Ни одна не подходит. А между тем небо трещит над головой: дыры дышат всё чаще, Твари и Игроки стоят у стен, а Система, которая три года говорила «Комментарий не предусмотрен», начинает трескаться сама. И в конце срока Джек понимает: способ, которого у города никогда не было, — не платёж одного. Финал трилогии о городе, который научился держать небо сам.

© Андерсон Е., 2026

© Автор, 2026

Елизар Андерсон

Нить: Расплата

ЕЛИЗАР АНДЕРСОН

НИТЬ: РАСПЛАТА

ФАНТАСТИКА

«Кандидатов нет. Есть долг.»

2026

АННОТАЦИЯ

Книга спросила поименно: «Джек Браун. Приход: достаточен. Расход: все. Срок: одно новолуние». Джек Браун ответил «плачу» — и получил двадцать девять дней, чтобы узнать, чем платили до него. Четыре держателя до него заплатили четыре цены: первый — семьей и семьей секундами, вторая — тридцатью годами себя, третий — побегом, четвертый — тысячей смертей. Ни одна не подходит. Небо между тем трещит над головой: дыры дышат все чаще, Твари и Игроки стоят у стен, а Система, которая три года говорила «Комментарий не предусмотрен», начинает трескаться сама. И в конце срока Джек понимает, что способ, которого у города никогда не было, — не платеж одного. Финал трилогии о городе, который научился держать небо сам.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «СРОК»

Глава 1. «Срок»

Глава 2. «Четыре пустых графы»

Глава 3. «Нулевая отметка»

Глава 4. Окна

Глава 5. «Тридцать секунд»

Глава 6. «Семь секунд»

Глава 7. «Нет»

Глава 8. «Ночь давления»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «ЧЕТЫРЕ ЦЕНЫ»

Глава 9. «Вторая половина»

Глава 10. «Кассовая нить»

Глава 11. «Между дыханиями»

Глава 12. «Ноль дней»

Глава 13. «Подвалы»

Глава 14. «Строка без имени»

Глава 15. «Второе нет»

Глава 16. «Графа кончилась»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «КТО СЧИТАЕТ»

Глава 17. «Человек без числа»

Глава 18. «Расход того счета»

Глава 19. «Дальний причал»

Глава 20. «Имя»

Глава 21. «Круг закрыт»

Глава 22. «По краям»

Глава 23. «Способ, которого не было»

Глава 24. «Арка кончилась»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. «РАСПЛАТА»

Глава 25. «Четвертое нет»

Глава 26. «Список»

Глава 27. «Небо трещит»

Глава 28. «Свидетель: город»

Глава 29. «Сверка»

Глава 30. «Платеж»

Глава 31. «Сдача смены»

Глава 32. «После срока»

ЭПИЛОГ. ТИШИНА

Благодарность читателю

Послесловие

ПРОЛОГ

Запрос прочитали вслух городу, и город с этим согласился.

Я говорю буквально. Книга лежала на столе у биржи — на том самом месте, где полгода назад я прошел свой метр, — и строка в ней была короткая, как счет в конце смены: «Джек Браун. Приход: достаточен. Расход: все. Срок: одно новолуние». Сто пятьдесят человек повторили ее за Ритой, вслух, поименно, каждый внес — и книга впервые за всю эту историю назвала меня не «держателем» и не «плательщиком», а по имени. В нашем городе имена вносятся в реестр, а реестр согласия не спрашивает.

Той ночью город зажег все окна. Не метафорой — спичками, лампами, керосином, чем придется. Верхние этажи засветились первыми, потом ярус, потом дома у гавани, где ламп всегда было жалко. Мо потом говорила, что это было красиво. Соня говорила, что страшно. Они обе правы — так бывает правыми две сверки одного счета: смотришь с разных сторон и видишь разное число, а расхождение между этими числами и есть правда. Я стоял тогда у стены биржи и думал о своем: город зажег окна не потому, что праздновал. Город зажег окна, потому что запрос был прочитан вслух — и правило наше старое, правило одиннадцатое, сработало в обе стороны: кто считает вслух и при свидетелях, того не вычеркнуть. Город считал себя вслух. Значит, город внес себя в счет вместе со мной.

Я не просил об этом. Но в нашем городе никто никогда не спрашивает согласия у реестра.

Утром я остался с книгой один.

Не сразу, конечно. Сначала была контора — вся, как она есть: Мо с котелком, Рита с тетрадами, Черновик у стены, графومان с блокнотом. Графومان плакал и при этом вычитал: этот человек мог делать оба дела одновременно, двадцать лет практики. Кэб стоял у двери и молчал по-старому, постановщицки: он умел молчать так, что молчание держало лучше бруса. Свет мы держали всю ночь, как учили: кто держит свет — тот держит город. Лампа у меня в руках тряслась, как тогда, у маяка, когда я нашел Игната мертвым и взял его способ не для себя — для работы. Свет не жалели. Свет мы не жалеем до сих пор.

А к рассвету все разошлись спать при своих лампах, каждый со своей тенью, а я сел за стол напротив книги, как садятся напротив кассира: руки на колени, спина прямая, никаких резких движений.

Лампа между нами горела ровно. Керосин я менял всегда вовремя — выучился за эти годы лучше, чем за все предыдущие.

— Плачу, — сказал я вслух.

Книга под ладонью стала теплой. Не горячей — теплой, как чашка, которую держат двумя руками. Она приняла слово, и я почувствовал, как оно легло: строчкой, моим почерком, который я не писал. Кто считает вслух — того не вычеркнуть. Кто платит вслух — уже внес.

— Но сначала я узнаю, чем платили до меня, — добавил я.

Тепло не изменилось. Книга зафиксировала и это — без спора, без уточнения, без строчки «условие принято». Она не торгуется и никогда не торговалась: ни с Первым, ни с Ниной, ни со мной в ту пору, когда я тысячу раз говорил ей «нет» — и она тысячу раз записывала мое «нет» как поведение плательщика. Книга не врет. Но она считает — и я знал, что теперь в ней лежат две строчки рядом: обещание и оговорка, приход и сноска. Какой вес у каждой, узнаю позже. В этом и состоит счет, что узнаешь позже.

Оговорка была мое решение, и книга не спорила. Она вообще не спорит: спор — это когда двое меняют слова местами, а книга слова не меняет. Она берет сказанное и кладет на полку — в приход, в расход, в графу «поведение». Сказанное вслух — весит. Сказанное молча — тоже весит, только полку книга за него выбирает сама. Так что оговорка моя легла куда положили — и я не обманывался насчет того, что она ничего не стоит. В этой бухгалтерии ничто не стоит ничего. Даже молчание Гаффера стоило ему сорок лет.

Срок она не «принимала» — и принять не могла: срок назначен самой формулой, одно новолуние, и сидеть вот так, напротив этой строки, было все равно что смотреть на трос перед последним дублем: снаружи витки целы, а внутри — уже вся история его распушения.

Расход: все.

Я всю жизнь падал за деньги, и слово «все» в моей профессии имело точный смысл: все — это когда страховку уже не отстегнуть, потому что некуда. Но книга, видимо, имела в виду что-то свое. Она всегда имеет в виду что-то свое — это я понял еще в первую неделю держательства, когда она записала мой обед у Мо приходом. Приходом, замечу, а не расходом. С тех пор я перестал удивляться. Бухгалтерия этого города удивляет только тех, кто в ней не живет.

Чем платили до меня — вот что нужно было узнать. Четыре держателя до меня, четыре цены.

Первый заплатил всем, чем был, — и стал кассой. Я видел эту кассу каждую неделю эти полгода: она стояла у дыр, отмечала, говорила «А я — без» — и я думал, что это профессия. Теперь я знал, что это цена, до сих пор выплачиваемая. Тридцать четыре года подряд, если верить Нине. Касса не жаловалась. Касса вообще ничего не делала лишнего — потому что касса была не должность. Касса была бывший держатель, который расплатился.

Нина заплатила собой, по дням. Тридцать лет себя — как это считается, в каких единицах, я не знал, но знал главное: ее имя до сих пор лежало у сторожа за гаванью, как вклад, который никто не пришел получить. Имя — единственное, что от нее осталось на виду. Остальное стер писарь рынка — человек, который сам когда-то сел в кресло и сам же из него вышел.

Третий не платил. Просто встал и ушел, и книгу три года носил город, который он бросил. Единственный неплатеж в истории этой книги. Я выиграл у него одну сверку — но сверка, как выяснилось, не взыскивает долг, сверка только фиксирует расхождение. Он стоит теперь в очереди к графоману, как тот человек, который хочет знать, сколько он стоит. Я видел его один раз в толпе — и не узнал бы, если бы не очередь: люди в очередях похожи на строки в реестре, пока не назовут число.

Коллекционер платил смертями и прошел свой метр. Прошел — значит, закончил. Закончил и остался: теперь он сторож дальнего причала, и его запись в реестре снова открыта, и имя его берегла касса. Четвертая цена — самая тяжелая на вид и, может быть, самая простая по счету: он просто делал свою работу тридцать лет и однажды понял, что работа кончилась. Не уверен, что понял. Но прошел.

Четыре цены — и ни одна мне не подходила, потому что ни одна не была моей. Касса однажды сказала мне: «А я — без». Я тогда не понял, что это ответ на вопрос, который мне еще предстояло задать.

Теперь предстояло.

Гаффер на моем месте молчал бы. Сорок лет он сидел у своего лотка и молчал — а потом однажды заговорил и умер. Его лампочка гудит над лотком до сих пор, без проводов, в ноте «ля», и Черновик ходит ее слушать по пятницам. Я не Гаффер. Я человек, который сказал книге «плачу» — и сказал вслух, потому что в этом городе вслух держится все: свет, сверки, стены. Кто считает вслух и при свидетелях — того не вычеркнуть. Я сказал «плачу» наедине с лампой — и лампа, по законам этого города, свидетель лучше многих людей. Она горит и не вычеркивает.

Я поднялся, закрыл книгу и пошел к Мо.

А пока я шел, город уже встал и считал — каждый по своей графе, не зная еще о запросе ничего, кроме того, что знал всегда.

Графоман стоял у моста с рассвета — я видел его с верхней дороги, маленькую фигуру над водой. Он проверял луну: вчерашнюю, позавчерашнюю, выводил среднее и качал головой — луна, по его мнению, еще не определилась, хорошо ли она отработает этот месяц. Он не знал, что у нее уже есть график, назначенный формулой. Он проверял луну по привычке, а привычка — это счет, который ведут без ведома счетчика.

Сторожка за гаванью горела огоньком. Сторож сидел на пороге и считал пустую дорогу — я знал это, хотя отсюда не слышал: «раз, два», — говорила будка сама себе сорок лет. Он не знал о запросе ничего. Он вообще ничего не знал о городе, кроме своей дороги, — и держал эту дорогу лучше любого кордона: кто считает пустую дорогу, тот не дает пустоте подступить.

Кабинка у восточной границы стояла в утренней дымке. Касса уже была на месте — она всегда была на месте раньше всех, как похороны бывают раньше смерти. Она отмечала дыру, которая дышала тридцатью восьмью, ровно, как пишут машинкой, и журнал у нее на коленях лежал открытый, и страница была чистая: запрос еще не пришел ни в одну графу. Она не знала, что страница эта — последняя спокойная. Отметила бы — да не знала, что отмечать.

Пахом мел свой двор у подвалов, и метла у него стояла знаменем. Он не знал о запросе ничего, и вообще знал мало — я встречал его на проходной прошлой истории, и он смотрел на меня глазами человека, который вас не помнит, но помнит, что вы — на своем месте. «Дежурю, — сказал он мне тогда. — Считается». Считался он, скот и дворы, и небо над двором держалось на его метле ровно настолько, насколько держится небо на таких вещах: совсем незаметно и совсем необходимо.

Я шел к Мо через город, который считал, не зная чего, — и думал: вот оно, утро первого дня. Город не проснулся под запрос. Он проснулся под свет, и свет был у каждого свой: у графомана — луна, у сторожа — пустая дорога, у кассы — дыра, у Пахома — двор. А над всеми этими огоньками стоял запрос, еще не прочитанный вслух, уже лежащий на всех одинаково, как лежит срок на людях, которые о нем еще не знают: ровно, и до конца.

День первый из двадцати девяти начался так — без меня, без книги, без формулы. Просто город встал и пошел считать. Графу «Срок» конторе нужно было открывать при всех — таков порядок, который мы сами себе придумали в ту ночь у биржи, и порядок этот до сих пор работал лучше любого регламента Системы. Система говорит: «Комментарий не предусмотрен». Мо говорит: «Ешьте, пока горячее». Из этих двух регламентов я знаю, какой держит город.

За дверью было утро. Тихое, обычное, почти скучное утро — такое, каким бывает первый день, когда осталось двадцать девять. Я ступил в него с книгой под мышкой и почувствовал, как город пересчитывает меня вслед: графоманы у моста, сторожка за гаванью, кабинка у восточной границы. Все начали считать. В этом городе срок никогда не был только твоим.

День первый из двадцати девяти.

Я шел и считал вслух — чтобы кто-нибудь подхватил.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «СРОК»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «СРОК»

Глава 1. «Срок»

Мо собирала контору обедом, и это был единственный способ собрать нас всех, который она признавала.

Колокол у нее был — я видел, ржавый, за шкафом. Но Мо говорила: колокол зовет людей, а обед зовет гостей, а гости, когда приходят, садятся и слушают. Так что в полдень первого дня мы сидели за длинным столом ее забегаковки: Рита напротив окна, Черновик у стены — он всегда садился у стены, тридцать лет сидел, теперь уж не пересадишь, — графоман с блокнотом на коленях, Соня прямо, руки сложены, Кэб у прохода, чтобы не мешать локтями, и Петруха у двери, потому что Кэб сказал «постой у двери», и Петруха стоял. Мо ходила вдоль стола с котелком и раздавала порции по одной, и пока она раздавала, говорить было можно только о еде.

Я ждал, пока все получат. Кэб получил первым — мешки учат: сначала те, кто держит.

Стол был тот же, что и в ту ночь у биржи — нет, конечно, не тот, просто я начал замечать эти вещи после запроса: у каждого предмета теперь была графа, и все графы кончались словом «все». Я тряхнул головой. Так начинается одна болезнь, о которой рассказывал графоман: сначала ты видишь счет везде, потом счет начинает видеть тебя.

— У меня обед, — сказала Мо, садясь последней и вытирая руки о передник. — Кто думает о книге натошак — тот думает чужое. Ешьте.

Мы ели. Графоман единственный пытался есть и вычитать одновременно — и справлялся, надо отдать ему должное, двадцать лет практики. Петруха ел стоя у двери, Кэб посматривал на него, но ничего не говорил: постановщик сам решал, когда стоящему можно сесть. Потом Мо кивнула мне — один раз, коротко, как ставят галочку в реестре, — и я положил ложку.

— Запрос вы все слышали, — сказал я. — Ответ я внес. Плачу.

Стол не вздрогнул. Это была наша контора: даже Соня не вздрогнула, а она видела больше всех нас.

— Срок, — сказал я. — Одно новолуние. До девятого. Сегодня первый день из двадцати девяти.

— Двадцати девяти, — повторил графоман и нахмурился так, как хмурятся, когда итог не бьется с телом счета. Он достал карандаш, вычел вслух: от полнолуния до новолуния, от новолуния до новолуния, вычел дважды, потому что упрямая наука требует перепроверки. — Двадцать девять, — согласился он неохотно. — А могло быть двадцать восемь. Луна, сэр, никогда не держит график. Кроме тех случаев, когда держит. — Он строго посмотрел на меня поверх очков, которых не носил: — Значит, держит.

— Значит, держит, — сказал я.

— Я буду проверять каждое утро, — сказал графоман. — Вслух. При свидетелях. И если луна сорвет график на день-два, я это зафиксирую. Кто считает вслух — того не вычеркнуть и не обмануть.

Рита кивнула и достала первую тетрадь. У нее тетради появлялись раньше, чем слова заканчивались. Синяя, зеленая, серая, бордовая — все четыре лежали перед ней, как инструменты у постановщика, и я вдруг подумал, что Рита — единственный человек в этой конторе, у которого тетради кончатся позже, чем счет. Она открыла чистую, серую, с клеенчатым корешком — такие в прошлом пошли на бродячих.

— Графу «Срок» открою сегодня, — сказала она. — Двадцать девять строк. По дню на строку, как взнос. Кто что сделал — в свою строку. У меня не буду писать за людей.

— А я буду писать за всех, — сказал Черновик тихо. — Как всегда. Только теперь в чистовик. — Он посмотрел на чистый лист перед собой, и я увидел, как у него дрогнула рука: тридцать лет черновиков за Коллекционера, и вот он — первый лист собственной тетради. Он не испугался. Он держался. Разница есть, он сам меня этому учил: испуг хватается быстро, а держание — работа.

— Сначала — графа, — сказала Рита ему, не поднимая глаз. — Потом — писать за всех. Кто открывает счет, тот первым вносит.

Черновик кивнул и взял перо. Рука у него была ровная, банковская — еще одна рифма в этой истории, о которой мы оба знали и ни один не говорил.

— Срок — это тоже страховка, — сказал Кэб. Он говорил медленно, разбирая мысль по доскам, как разбирают леса. — Страховка не от падения. От того, что падать придется известно когда. Двадцать девять дней, Браун — это не срок. Это назначенный дубль. А назначенный дубль всегда страшнее случайного, потому что его ждешь.

— Тогда мешки держи калиброванные, — сказал я.

— Держу, — сказал Кэб. — Их и держу. — Он помолчал и добавил, уже тише: — Петруха считает журналы. Я сверяю. Кто считает — тот не спорит со снимающим. Так у нас на площадке, так и тут.

Петруха у двери кивнул, не оборачиваясь: он слышал. В этой конторе все слышали — стены у Мо слушали лучше людей, а люди слушали не хуже стен.

Соня молчала до последнего, как она всегда молчала до последнего. Потом сложила руки на коленях — так она садилась, когда считала всерьез.

— Я считаю по-теньям, — сказала она. — Сегодня теней больше, чем вчера. Не потому что темнее. Потому что тени пошли к границе — все сразу, как будто нас позвали. — Она помолчала, подбирая слова, как она подбирала все — точно. — Я еще не знаю кто. Я узнаю.

— Кто зовет, узнаем за нас, — сказал я. — А кто считает — считает.

Соня кивнула и посмотрела на меня с выражением, которое у нее было только для своих: «я посчитаю». Она выросла за эти годы на целый счет — я хотел сказать «на голову», но после запроса все измерения у меня шли в графах.

Мо слушала, не перебивая, и только когда Соня кончила, поставила на стол чайник и сказала главное:

— Ладно. Есть срок — будет и работа. Кто считает — считает по своему, кто держит — держит, кто пишет — пишет. — Она обвела нас взглядом, и взгляд этот, как всегда, был дверью: не впускал и не выпускал — решал. — А ты, дублер, с книгой не наедине сиди больше. Ответ внес — молодец. Дальше все при нас.

— Я и не садился наедине, — сказал я. — Лампа была свидетелем.

— Лампа — лампой, — сказала Мо. — А обед — обедом. Ешьте, пока горячее.

Мы ели. И это, если подумать, было первое решение конторы на первый день срока: не тетради, не мешки и не тени — а то, что мы сели за стол и доели обед. Город, который собирается платить, должен сначала поесть. Мо знала это раньше всех нас, она всегда знала такие вещи раньше, поэтому она и была дверью, а не просто хозяйкой. Гаффер говорил бы тут про рассказ в одном экземпляре — а Мо ставила котелок, и рассказ в одном экземпляре благодарно ел.

После обеда Рита открыла серую тетрадь и провела первую строку: «День первый». Черновик сел писать рядом, заодно и за себя. Графоман ушел на мост вычитать дни — он говорил, что не верит двадцати девяти и будет проверять их каждое утро, вслух, при свидетелях. Кэб ушел к мешкам, и Петруха пошел за ним, уже не у двери. Соня осталась у окна считать тени.

А я открыл книгу на графе «Расход:» и посмотрел в пустоту под словом «все» — как смотрят в шахту лифта. Кабина где-то ехала. У меня было двадцать девять дней, чтобы узнать, кто ее вызывал.

Четыре цены лежали впереди — четыре досье, которых еще не было на столе. Ни одной.

Я взял карандаш и написал на полях первое, что знал точно: «Кандидатов нет.»

И добавил, помедлив: «Есть долг».

Перед тем как разойтись, Мо распорядилась последнее — и это распоряжение запомнилось мне больше всего, потому что оно было не про меня:

— Края обходим. Каждый день, по очереди, при свете. Кабинка у восточной границы, сторожка за гаванью, лоток Черновика, дворы Пахома, маяк. Кто обходит — считает вслух, что видит. Метку ставит — метка стоит на месте, даже когда человек не стоит.

— Я первый, — сказал Кэб. Не спросил — сказал: постановщик не спрашивает, когда речь о первом выходе.

— Ты второй, — сказала Мо. — Первым иду я. Дверь ходит первой.

Никто не спорил. В этой конторе спорили с Мо только о том, кто моет посуду, и даже это — не всерьез.

К вечеру первого дня графа «Срок» в серой тетради Риты выглядела так: первая строка заполнена аккуратно, «Обед. Срок объявлен. Каждый считает по-своему». Рита вписала и то, что мы не делали: «Края не обойдены — обход с завтрашнего дня.» Она никогда не оставляла пустых граф без причины. Пустая графа, говорила она, — это приглашение.

Глава 2. «Четыре пустых графы»

Писать за другого я привык. Тридцать лет писал за Коллекционера — стирал имена так, чтобы бумага не рвалась, и сам дожил до того, что меня списали собственным почерком: приход — писарь, расход — черновик. Потом был год чистовика. Теперь вот вторая тетрадь с моим именем на корешке — если бы у меня было имя, а не функция. Рита говорит: функция лучше, у нее графа не кончается.

Графа «Срок» открыта вчера, первый день вписан. Я веду рядом. Работа писаря при счете — писать рядом, не вместо: вместо писал я тридцать лет, и книга до сих пор не уверена, что я существую отдельно от его руки.

Запись первая. День второй. Веду по голосу держателя и по словам свидетелей. Правила те же, что учил город: не писать того, чего не видел; не ускорять; не торговать. Четвертое правило прибавил я сам, год назад: не бояться чистого листа. Правило трудное. Держу его, как Кэб держит страховку, — не отстегиваю.

Вчера контора встала на счет. Собрание было у Мо, за обедом, как положено: дверь собирает людей через котелок, а не через колокол. Держатель объявил срок — одно новолуние, до девятого, день первый из двадцати девяти. Графоман вычел дважды и согласился неохотно: луна, по его словам, графиков не держит, кроме случаев, когда держит. Я записал обе фразы. Счетовод, который не верит числу, — лучший счетовод этой конторы: он единственный проверяет то, что остальные уже приняли.

Соня сказала: тени пошли к границе. Я записал и это, хотя теней в моей тетради нет графы. [зачеркнуто: завести графу «тени»? Нет. Соня считает тени сама. Писарь, который ведет чужие графы, кончается как я — функцией.]

Мо сказала главное: «Есть срок — будет и работа». И: «Дальше все при нас». Записываю дословно, потому что некоторые фразы придумываются один раз на город, и у этой уже есть графа — графа «дверь».

Запись вторая. Графа «Срок» у Риты: двадцать девять строк-взносов, по дню на строку. Я завел ту же графу у себя, черную, в конце тетради. Рита считает, что сделано; я считаю, что еще нет. Между этими счетами — вся разница между чистовиком и черновиком, и я тридцать лет был на той стороне, где «еще нет». Теперь учусь быть на обеих. Ученик страшнее учителя, сэр: учителя ученики знают наизусть.

Запись третья. Четыре досье, четыре цены. Веду реестр так, как вел бы инвентарь: что известно — в строку, чего нет — в графу «дыра».

Досье первое — Первый Нитевод. Цена: семья и семь секунд. Семь секунд — первый взнос, на котором небо держалось три года рассрочки; дыры, по словам держателя, — не раны. Дыры — проценты. Известно: он стал кассой. Известно: «А я — без» — его собственные слова, которыми он принял счет. Неизвестно: где семья. Неизвестно: как человек, заплативший всем, выглядит, когда платит. Дыра: я вписал «семья» и не смог подписать — не знаю, в каких единицах пишется эта графа. Отложил. Строку, которую не можешь подписать, в архив не сдают.

Досье второе — Нина. Цена: тридцать лет себя, по дням. Держала книгу сорок лет, до ночи Раскола. Имя у сторожа за гаванью — проверено, держатель носит его с той ночи у сторожки, вслух, при свидетелях. Известно: писарь рынка стер ее за одну ночь. Известно: «жива. здорова. никем не была» — три фразы, которыми тот отчитался, как бывший писарь, за три года. Я писал этот отчет чужой рукой и помню его почерк. Ровный. Банковский. Как у меня. [здесь перо стояло долго. Писать дальше.]

Писал дальше так. Три фразы — «жива, здорова, никем не была» — записал дословно, хотя дословность здесь работает против нас: это отчет неплательщика, а не врача. Но графа есть графа: плательщик внес три фразы — счет принял три фразы. Если за Нину можно расплатиться тремя фразами, то вопрос «чем платили до меня» получает ответ страшнее любого суммы: платили тем, что имели. А у стершего, видимо, имелись только слова. [зачеркнуто: жалость не графа] Не мое. Писать что вижу. Вижу: держатель держит это досье крепче остальных. Молчит о нем дольше остальных. При записи досье Нины голос у него становится тем, каким говорят у постели больного — осторожно, без лишних слов. Записал и это. Писарь, который не пишет о тоне голоса, кончается как машинка: стучит и не слышит.

Досье третье — держатель №3, писарь рынка. Цена: неплатеж. Единственный, кто не платил. Побег — тоже цена, говорит держатель, только отложенная: он стоит теперь в очереди к графоману за собственным числом. Я видел эту очередь. Вписываю ее по работе.

Досье четвертое — Коллекционер. Цена: тысяча смертей. Прошел метр — значит, закончил. Известно: он сторож дальнего причала, запись открыта заново, имя берегла касса. Неизвестно: кому касса его оставит. Дыра рядом с этой графой шире остальных — я еще вернусь к ней.

Запись третья с половиной. О кассе.

Я пересмотрел все тетради. Бордовую — держатели, никому не показывает, но мне показала, я переписывал за ней. Синюю — живые. Зеленую — возвращенные. Серую — бродячие, и новую, «Срок». Пересмотрел вчера вечером, при свете, дважды: сперва по графам, потом по дням, как Рита учит.

О кассе нет ни одной строки, которую можно было бы назвать досье. Ни в одной тетради.

При этом касса есть в каждом окне Системы. Реестр держателей начинается с нее: «№1. Первый Нитевод. Статус: касса». Касса ходит к дырам, отмечает, говорит «А я — без» — и контора, которая записывает все, не записала о ней ничего, кроме статуса. Тридцать три года, сэр, по канону счета. Я вел синюю тетрадь два года — и не вспомню ни одной строки о ней. Не потому что строк не было. Потому что ни одна из них не ложилась в графу.

Я сижу над этой дырой второй час. [зачеркнуто: кто стирает у писаря — тот боится не текста, а подписи] Не мое. Писать, что вижу, не что понял.

Вижу: Система ее знает. Контора — нет. Между этими двумя счетами лежит то, что контора будет считать в ближайшие две недели. Мне — ровно столько же, сколько всем. Я писарь: я пишу первым, но читаю одновременно со всеми.

Запись четвертая, вечерняя. Сижу у лотка. Лампочка Гаффера гудит в ноте «ля» — я спросил у Мо, она слушает эту лампочку лучше всех живых, она сказала: «ля». Кружка Гаффера стоит на ящике, желтая, с отколотым краем. Рита внесла ее в инвентарь вслух, при всех: «Кружка, одна, желтая, отколотая. Гаффера. Числится.» Я был свидетелем. В этой конторе свидетели есть на каждую вещь — вот почему вещи здесь не теряются, а люди — почему не вычеркиваются.

Гудение сегодня ровное. Спрашивал у лампочки про дыру в графе кассы — вопрос, видимо, поставлен не по адресу: гудит «ля», как гудит на вопросы, которые ей не задавали. Мо говорит: у гудящих короткий вопрос — длинный ответ. Записываю и это. Завтра держатель идет к границе — нулевая отметка, дыхание тридцать восемь. Крюк будет считать дыру. Я буду писать рядом.

Про «рядом» — одна исправка всему, что я писал год назад. Тогда я говорил «пишу первым»: тетрадь опережала вечер, строка ложилась до события, я боялся бумаги больше собственной руки. Теперь тетрадь остыла — опережение кончилось, как кончаются все счастья, которые человек принимал за профессию. Сегодня я пишу рядом. Рядом — это не медленнее и не слабее. Рядом — это так, как писали два писаря на одном лотке: один ведет, второй читает через плечо, и строка, которую двое проверили глазами, выживает там, где одиночная сгорает. Так учила меня восьмая. Так держится вся эта контора — не талантами, а плечами.

Кто-то должен писать рядом. Так учила меня восьмая, хотя я ей никогда этого не говорил: строку, которую пишут вдвоем, вдвое тяжелее стереть.

Запись четвертая с половиной, последняя на сегодня. Под заготовкой досье Первого оставил одну строчку, без номера, для себя: «Кандидатов нет. Есть долг». Держатель написал это на полях книги, я переписал — потому что хорошие строки должны лежать в двух экземплярах. Так начинаются тексты, которые доживают до конца. Так начиналась и эта книга — со строки, которую кто-то переписал за другого.

Глава 3. «Нулевая отметка»

Граница утром пахла озоном и мокрым камнем, и с этим запахом у меня связана работа: я всю жизнь приходил туда, куда другие не хотят лезть, — и граница была той же работой, только без мешков.

Мо обошла края первой — вчера, как и велела сама себе: кабинка, сторожка, лоток, дворы, маяк. Вернулась к ужину, сказала одну фразу — «Все на месте. Все считаются» — и больше ничего, а в этой конторе одна такая фраза заменяла отчет на двух страницах. Сегодня очередь была нашей: Кэб остался на площадке перебирать леса, а меня сопровождал Петруха с журналами. Мо сказала мне на прощанье только: «Смотри. Не работай — смотри. Работать там будет Крюк». Я пошел смотреть. Смотреть, кстати, тоже работа — я двадцать лет получал за нее деньги, просто раньше называлась она «ждать своего дубля».

Кабинка у восточной границы стояла на своем месте — квадратный домик цвета старой монеты, табличка без надписи, потому что надпись, как и все в этом городе, здесь давно съели. У кабинки сидела касса. Она всегда сидела у кабинки в последнее время — не внутри, а рядом, на ящике, как сидят люди, которые знают, что мебель скоро уедет, а они останутся.

Рядом стоял Крюк. Руки за спиной, стоял так, как стоят у своего нового рабочего места те, кто тридцать лет стоял у чужого, — аккуратно, чтобы не помешать.

— Ну, — сказала касса, не поднимаясь. — Пришли за отметкой.

— За отметкой, — согласился Крюк.

— Тридцать восемь, — сказала касса. — Дышит раз в тридцать восемь секунд. Ровно. Пиши.

Крюк достал свою тетрадь — новую, серую, в линейку, такую, какие берут в канцелярии яруса, — и записал. Потом протянул кассе. Она посмотрела, кивнула и подписала — мелко, в углу, так, как расписываются в получении.

— Все, — сказала она. — Отметка твоя. Снимаешь — считаешь вслух. Считаешь вслух — стоишь. Так устроена эта работа.

— Так устроена, — согласился Крюк и повернулся к дыре.

Я стоял в стороне и смотрел. Нас было четверо: касса на ящике, Крюк у дыры, я — гость, и Петруха у кабинки, потому что Кэб сказал: «Сходи с держателем, журналы посмотришь». Петруха смотрел журналы. Он всегда делал ровно то, что сказано, — и ровно это делало его лучшим учеником Кэба: на площадке, говорил Кэб, исполнительность страшнее таланта, потому что талант падает красиво, а исполнительность — в мешки.

Дыра была метрах в пятидесяти за чертой, в том месте, где земля кончалась так, как кончается хороший фальшфейер — без последнего всплеска. Она не светила и не гудела. Она просто была — круглая, темная, ровная, как зрачок. Я видел дыры до этого издавека, с крыш, с набережной, из окон Системы. Я никогда не стоял так близко у восточной границы. С близкой дистанции дыра оказалась вещью, а не новостью: от нее шел холод, ровный, как из открытого ларя, и воздух вокруг стоял колонной, как вода перед съемкой трюка — все ждут команды «мотор», и это ожидание слышно.

— Тридцать восемь, — сказал Крюк. Голос у него был будничным, как у человека, который пересчитывает карабины. — Тридцать восемь.

Он считал вслух. Дыра дышала — раз. Молчание — два. Снова дыхание. Ровно. Я слушал и чувствовал, как внутри меня что-то перестраивается: до этого срок был строкой в книге, а теперь стал секундами, которые отсчитывает человек с тетрадью. Срок перестал быть бумагой. Он стал вещью, которую можно потрогать — я протянул руку и поймал воздух перед дырой: холодный. Тридцать восемь секунд холода за раз.

— Умеешь работать руками, — сказала касса, глядя на меня. — Видела. Теперь смотри, как работает счет.

Крюк считал. Десять дыханий подряд — ни одного сбоя, и я понял, что Кэб был прав, посылая его сюда: глаз у Крюка был постановщицкий, он видел сцену целиком — дыру, траву вокруг, Тварей у стены дальше, — и все это держал в одном кадре, не задерживаясь ни на чем. Так считают люди, которым когда-то не дали досчитать.

У стены, за дырой, начиналась полоса, которую город называл зоной. Там стояли Твари и Игроки — я знал их с той ночи, когда мы стояли у стены вместе, полгода назад. Твари были большие, молчаливые, неподвижные, как театральные бутафорские скалы, из которых в третьем акте всегда вылезает то, что должно. Игроки стояли ровным рядом за ними — те, кто когда-то был людьми с именами, а теперь был рядом.

Они стояли дольше, чем стояли.

Я это заметил не сразу — глаз ловил движение, а они не двигались. Но их было больше. В прошлый раз, когда я был здесь, стена начиналась за поворотом, а теперь она начиналась сразу — первый ряд Игроков стоял на полсотни шагов ближе. Они не готовились. Они не угрожали. Они простоявшие у стены — простояли больше, чем простаивают, и это было страшнее любого рывка: давление, о котором говорила контора, оказалось не метафорой. Дыра дышала чаще не потому, что торопилась. Она дышала чаще, потому что на нее давили.

Игроки стояли ровно, лицами к городу, и я не стал подходить ближе, чтобы не узнать лиц: за два года работы с книгой я выучил одно — счет начинает считать тебя в тот день, когда

ты начал узнавать строки по лицам. Петруха, однако, посмотрел. Он посмотрел долго, потом записал что-то в журнал и сказал Крюку, глядя на дыру:

— У первого ряда форма новая. Рукава длиннее. Они готовятся стоять дольше.

Крюк кивнул и переставил тетрадь в другую руку — жест человека, который принял поправку на месте. Я подумал, что журнал Кэба после ухода кассы попадет в хорошие руки: Петруха смотрел на стену глазами постановщика, а это, как выяснялось весь прошлый год, единственный глаз, которому стена не лжет.

— Видишь? — спросила касса.

— Вижу, — сказал я.

— А я — без, — сказала она ровно и просто, как говорят «отметила». — Без таблички скоро. Без ящика. Без графы. У меня вся жизнь была из граф, держатель. Не удивляйся, когда кончится последняя.

Она сказала это без жалобы — касса жаловаться не умела, она умела только отмечать. Но я услышал в этом чмокание затвора: слово легло в строку, и я не знал пока, в какую. Я записал бы его вслед, но тетрадь была у Черновика, а память — у меня. Помнить вслух — тоже счет.

Мы простояли у дыры час. Крюк за час ни разу не сбился; к концу часа я уже слышал ритм его счета раньше, чем дыхание дыры, — он дал ему то, что дают хорошие постановщики любой сцене: темп. Тридцать восемь секунд стали не пыткой ожидания, а тактом. Я подумал, что вся наша контора делает именно это — не отменяет срок, а задает ему темп. Счет не остановить. Но счет можно поставить.

Петруха закончил с журналами и подошел к Крюку. Молча посмотрел на тетрадь, молча кивнул. Потом сказал первое и единственное за весь выход:

— Страховку не отстегивать.

Крюк кивнул, не оборачиваясь: на границе это звучало не как шутка Кэба, а как пункт режима.

— Ты приходил смотреть, — сказала касса, когда мы собрались уходить. — Смотрел. Теперь делай, что умеешь: считай вслух то, что видел. Так устроена сверка: снимающий снимает, свидетель свидетельствует, писарь пишет. Одна рука — не счет.

Я пообещал вслух. Касса кивнула — она ценила вслухное, как бухгалтер ценит подпись.

Уходя, я обернулся. Касса сидела на ящике и смотрела на дыру так, как смотрят на коллегу, который держится дольше, чем рассчитывал. Крюк стоял у дыры спиной к городу — впервые за то время, что я его знал, у него была своя стена, и он ее держал. У него был темп, у дыры был ритм, у города — двадцать девять дней. Между этими тремя числами и вмещалась вся моя работа теперь: не остановить срок, а сделать так, чтобы он шел в такт. Кэб называл это иначе — «страховку не отстегивать» — но это одна мысль на двоих, как и все хорошие мысли в этой конторе.

Дорогой назад я считал вслух — тридцать восемь, тридцать восемь, — чтобы Крюк услышал, что счет подхвачен. Граница позади держалась на одном человеке и одном ритме. Завтра контора читает окна Системы — и там, где регламент говорил «Комментарий не предусмотрен», мы посмотрим, не появился ли он.

Глава 4. Окна

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, день четвертый]

Дыхание, утро: тридцать восемь. Крюк снимает с вечера, сходится. Дважды за ночь сверял сам с собой — я слышала из кабинки: считал вслух дважды, как учат в этой конторе. Не сбился. Твари стоят, Игроки стоят. Рукава длиннее — отметила еще вчера, Петруха согласен, я согласна. Держатель ходил, смотрел, пообещал вслух. Умеет. Отметила.

Замечание себе, к утреннему счету: Крюк берет тетрадь в руки, как берут инструмент, к которому привыкли руки раньше, чем голова. Не любовь и не страх. Привычка. В моей старой работе, сэр, такие люди назывались хорошими счетчиками: им можно дать любой счет, они сосчитают и не прибавят от себя. Я тридцать четыре года отмечала дыры в одиночку — нет, сэр, не жалуюсь, отмечаю: одиночка снимает, одиночка сверяет, и некому сказать, что цифра пошла вниз. Теперь говорю Крюку: «Тридцать восемь». Он говорит: «Снимаю». Между этими двумя фразами, сэр, вся сверка. Так и должно работать.

Дыхание, день: тридцать шесть. Ровно. Учащается по расписанию — такого я в дырах не видела, а я видела их все, сэр, с той ночи, когда небо прикусило губу. Дыра, которая знает расписание, — это уже не дыра. Это счетчик. Кто считает дыру — дыра считает его. Записала и это, пусть реестр разбирается.

Дыхание, вечер: тридцать четыре. Монотонно вниз. Кэб с Петрухой обошли края, вслух, при свете: кабинка, сторожка, лоток, дворы, маяк. Докладывали вдвоем, как бригада: Кэб — по местам, Петруха — по пометкам. Контора работает — отметила. Работает как положено: по графам, по очереди, без паники. Паника, сэр, — это тоже счет, только ведут его без свидетелей.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Приход книги за сутки: +1 способ. Свидетели: есть. Комментарий не предусмотрен.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, дописка]

Способ ушел по руке и имени, вечером, при свете конторы. Я была свидетелем — стояла у лотка, грела чайник. Держатель передал, человек принял, оба сказали вслух. Каждая передача — строчка, говорит Рита, и книга тяжелеет ровно на вес строчки. Отметила: счет, который тяжелеет от добрых дел, все равно тяжелеет. Взыскивать с него будут не за добрые дела. За добрые дела в этом городе, сэр, платят отдельно — обычно потом и обычно дороже.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Приход книги за сутки: +1 способ. Свидетели: есть. Комментарий не предусмотрен.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Графа «Срок»: остаток двадцать пять дней. Комментарий не предусмотрен.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, дневная]

Графоман проверил луну при всех, у моста. Луна, по его словам, «старая на четыре дня и ведет себя прилично». Он не верит и записывает — оба дела, как всегда, одновременно. Отметила: не верить и записывать — две разные работы, и он выполняет обе. Такие счетоводы, сэр, держат город крепнее стен: стена может треснуть, а проверяющий сомневается вечно.

Черновик писал рядом с Ритой весь день — я заходила, грела чайник. Досье Первого, говорит, не складывается: слово «семья» не лезит ни в одну графу. Я ему сказала то, что говорю всем, кто держится над дырой: пусть не лезет. Графа, в которую слово не лезет, — сама по себе строка. Он записал. Хороший писарь, сэр. Боится чистого листа и сидит на нем, как на постели: неудобно, но держит.

Держатель ходил по краям с Мо — она его водила, как водят по этажу перед сдачей здания: вот здесь трещина, вот здесь слушай, вот здесь не ходи, я сама. Слушал. Умеет слушать — это редкость в его профессии, падальщики привыкли лететь первыми. Вернулся, сел с книгой. Лицо — как у человека, который прочел счет и молча согласился с итогом.

Соня весь день считала у окна. Сказала мне, когда я проходила с чайником: «Тени учатся. Я их учу не я». Записала дословно — у нее так: скажет коротко, а перепишешь — смотришь, строчка в два раза длиннее сказанного. Хорошие счетоводы, сэр, пишут мало и весят много. Я такая не была. Я писала много и весила мало. Мы с ней, стало быть, пара: она видит то, чего нет в тетрадах, я пишу то, что некому увидеть.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Открыт счет: «Срок». Остаток: двадцать восемь дней. Комментарий не предусмотрен.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Открыт счет: «Срок». Остаток: двадцать восемь дней. Комментарий не предусмотрен.

[СИСТЕМА]

Уведомление. Сводка устарела: два дня. Актуальная сводка не выдана. Причина не предусмотрена.

[СИСТЕМА]

Уведомление. Дублирование окна не предусмотрено регламентом. Дублирование зафиксировано. Расхождение: отсутствует.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Допуск счета «Срок»: плюс-минус один день.

[СИСТЕМА]

Уведомление держателю №5. Допуск счета «Срок»: ноль дней. Допуски не могут противоречить. Противоречие зафиксировано. Классификация не предусмотрена.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, ночная]

Окна пришли мне первой — я не сплю, я отмечаю. Прочитала трижды, как учила Рита: сперва по графам, потом по дням, потом по смыслу.

По графам: окна дублируются. Сводка устарела на два дня, актуальная не выдана, причина не предусмотрена. Окна Системы не устаревают, сэр. Окна Системы — это та часть неба, которая умеет писать. Когда пишущее перестает знать, какой сегодня день, у читателя уходит опора — а читатель здесь я, и я хочу сказать, что опора ушла.

По дням: тридцать восемь, тридцать шесть, тридцать четыре — и вдруг окно возвращается на два дня назад, как будто отматывает ленту. Дыра не отматывает. Дыра дышит вперед. Отматывает тот, кто боится того, что впереди, — а Системе, сэр, нечего бояться. Системе нечего бояться, и она боится. Записала. Пусть реестр разбирается. Реестр, я подозреваю, разбирается сам.

По смыслу: противоречие допусков. Срок то с допуском в день, то без допуска вовсе. Знаете, что это значит, сэр, на языке моей старой работы? Это значит, что счет еще не решили, как взыскивать. Плюс-минус день — для плательщика. Ноль дней — для того, кто платить не собирается. Два допуска на один счет — это не ошибка. Это два разных решения, которые спорят за одно кресло. Записала и это, хотя графы под него у меня нет. Графу назову «два кресла». Смешно, сэр. Я устала, а не грущу. Это разные графы.

И еще одно по смыслу, уже без шуток. Сводка устарела ровно на два дня. Два дня назад — это когда держатель объявил срок конторе и контора встала на счет. Система, сэр, отмотала не назад вообще, а назад до нашего решения. Она показывает мне окно, в котором срок еще новый, а кабинка еще моя, а все, что мы сделали за два дня, еще не вписано. Это не сбой памяти. Это вопрос, заданный окном: а что, если бы вы не встали на счет? И ответ на этот вопрос, сэр, я знаю, потому что я без: без встреченного счета не бывает. Счет приходит всегда. Разница только в том, кто к нему выйдет — люди или окна.

Спать не буду. Посижу с окнами до рассвета, пусть видят, что я тут и их дубль отмечаю, и их причину не предусмотрела.

[СИСТЕМА]

Уведомление. Комментарий не предусмотрен.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, ночная, последняя строка]

Держатель, когда ходил к границе, спрашивал, страшно ли. Отвечаю теперь, когда окна ответили за меня: страшно — это когда счет движется. А когда трещит регламент — страшно

вдвойне, потому что регламент трещит раньше счета. Регламент — это стена, за которой счет. Стена дала трещину — вот она, сэр, одна, ровно одна, я посчитала: старая сводка вместо новой, два допуска вместо одного. Больше трещин в этой стене нет, и я обойду ее еще раз до рассвета, чтобы было честно.

Я — без. Без страха тоже.

Разница записана: раньше Система говорила «не предусмотрено» о том, чего еще не было. Теперь — о том, что уже случилось. Разница — это и есть трещина. Утром контора прочтет вслух. Кто читает вслух — того не вычеркнуть; что прочли вслух — того не вышьешь обратно.

Отметила. Дышит тридцать четыре. До рассвета — девять часов, и все они мои.

Глава 5. «Тридцать секунд»

Пятое утро контора встретила у окна — Рита читала вслух, что Система дала за ночь, а мы стояли рядом и держали свет, чтобы читалось. Я не буду пересказывать, что именно было в тех окнах: это записано в тетради Риты, дважды, в двух экземплярах, как положено со всем, что трещит. Скажу одно: контора прочитала и замолчала, и молчание это было громче любого вывода. Графоман — а он пришел с моста специально, еще затемно — слушал, открыв блокнот, и в первый раз за все годы не записал ничего. Потом закрыл блокнот и сказал то, что говорит, когда упрямая наука упирается в стену:

— Сэр, я вычитаю окна Системы двадцать лет. Она не ошибается. Ошибка, которая повторяется дважды, — уже не ошибка, а изменение регламента. А изменения регламента, сэр, не предусмотрены. — Он помолчал и добавил, уже тише: — Я записал это. Пусть лежит. Кто считает вслух — того не вычеркнуть, а что не вычеркнуто — то можно сверить.

Черновик писал рядом, не поднимая глаз. Я видел, как у него дрогнула рука — один раз, на полуслове, — и пошла дальше. Держание.

— Цифру надо сверить, — сказала Мо. — Окна — окнами, а дыра — дырой. Крюк снимал четвертые сутки. Идем.

Идем — значит идем. На границу вышли впятером: Мо, Кэб, Петруха, Соня и я. Рита осталась у тетрадей — она сказала, что двух экземпляров мало, когда трещина одна, и села переписывать третий. Графоман ушел обратно на мост вычитать луну: там, сказал он, регламент пока держится. Черновик остался писать рядом с Ритой. Контора не собирается толпой: она собирается по графам.

Граница встретила нас ровным холодом и ровным голосом. Крюк стоял у дыры, как стоял вчера и позавчера, — я узнал в этом нашу контору: человеку, которому дали темп, темп дается легче, чем стена.

— Тридцать, — сказал Крюк, не оборачиваясь. Дыра вздохнула. Мы ждали. Считали вслух, кто громче: — Тридцать.

— Сходится, — сказал Кэб. Он держал журнал кассы — пока журнал велся у кабинки, и касса записывала рядом с ним, каждый вечер, двумя руками, как Рита учит. — Тридцать вечером, тридцать утром. Монотонно вниз. — Он помолчал и добавил то, что говорят, когда цифра становится строкой: — Держит график.

График. Я посмотрел на дыру и вдруг понял, что мне не хватает слова, и слово это было старое, каскадерское: ритм. Дыра дышала ритмом, который три дня назад был тридцатью восьмью секундами, а теперь был тридцатью. Она не ускорялась хаотично — она ускорялась по расписанию. А что дышит по расписанию, сэр, то знает, сколько осталось.

— Она считает, — сказала Соня тихо. — Как мы.

Никто не возразил. Касса, сидевшая у кабинки на своем ящике, кивнула — отметила. Я подошел к ней: хотел спросить, когда она спит, но она ответила раньше, по привычке отмечать вопросы до того, как их задали.

— Сплю на ящике, — сказала она. — Уже привыкла. Ты хотел спросить другое: чем кончится график. — Она пожала плечами, и это было самое страшное движение утра: касса пожимала плечами, как пожимают на вопрос, у которого еще нет графы. — Не знаю. Я без. Без графы «конец» тоже.

Твари у стены стояли в своем новом порядке — рядов больше, рукава длиннее, бутафорские скалы подступили к самой черте. Петруха обошел их полукругом, на привычной дистанции, и вернулся с записью в журнале.

— Второй ряд стоит там, где неделю назад был первый, — сказал он Кэбу. — Считаю по клеям ботинок в траве. Стоят давно. Стоять собираются.

— Страховку не отстегивать, — сказал Кэб.

— Держу, — сказал Крюк из-за спины. Он не отрывался от дыры. — Держу и темп, и страховку. Все держу.

Мо слушала, не перебивая, потом поставила галочку — я увидел, как она это делает глазами, — и повернулась к городу.

— Рита внесет «тридцать», — сказала она. — А ты, дублер, с сегодняшнего дня ходишь по краям со мной. Края не ждут, пока ты допадешь с границы.

Дорогой назад я заглянул на мост. Графоман стоял у парапета и вычитал луну вслух, при свидетеле — при мне: «День пятый. Луна старая на два дня. График держит. Я, сэр, записываю, потому что не верю. Не верить и записывать — это две разные работы, и я выполняю обе». Я пообещал ему, что новолуние он встретит при всех, с блокнотом, и он успокоился: счетовод, у которого есть дата, может не верить бесконечно, но не бесплатно.

Вечером я нашел Соню у окна конторы. Она стояла так, как она умела стоять — ровно, руки сложены, глаза на улицу, где начинался нижний ярус и где лампы только зажигались, одна за другой, как всегда по вечерам, без всякой тревоги, просто жилой свет. Я хотел сказать ей, что день удался: цифра снята, сверена, внесена. Но она заговорила первая, и я понял, что день только начинается.

— Смотри на тени, — сказала она. — Не на лампы. Тени.

Я смотрел. Люди шли по улице с работы, по обычным делам, и у каждого за спиной была тень — по одной, как положено, по вечернему свету длинной. Потом я увидел то, что видела она: тени не шли за людьми. Тени шли впереди, на шаг, на два, легко, как идут те, кто знает дорогу. И все они, каждая, поворачивали к конторе — а от конторы, мимо нас, мимо окна, в другую сторону шли тени навстречу: такие же длинные, такие же деловые, только уже без людей. Тень доходила до угла и кончалась, как кончается отпечаток шага на снегу. Люди шли себе дальше — с работы, по обычным делам, — и не знали, что впереди у них уже никого нет.

— Кильватер, — сказала Соня. — Я их так назвала, когда они были одни. У бродячей строки кильватер один — она гуляет сама, куда хочет. А теперь смотри: у каждой тени есть кильватер, и все они ходят по маршруту. К конторе. От конторы. К границе. Утром я стояла на том же месте: маршрут тот же. Сеть не спит, ангел. Сеть дежурит.

— Что они несут? — спросил я.

— Ничего, — сказала Соня. — Они идут так, как идут люди, которые учат дорогу наизусть. Не несут. Запоминают. — Она провела пальцем по стеклу, не рисуя ничего, просто провела, как проводят рукой по воде, чтобы убедиться, что вода на месте. — Я думала, я считая строки. Оказывается, я считаю, как они лягут. Кто кому. Кто куда. Город учит раздачу наизусть — и учится быстро, я за ним не поспеваю.

Она помолчала. Потом повернулась ко мне, и глаза у нее были те, что бывают у нее, когда счет сошелся не в ее пользу.

— Их больше, чем нас.

Я слышал эту строчку от нее однажды уже — тогда, когда бродячие только начинали ходить. Тогда она звучала как диагноз. Сейчас она звучала как расписание.

— Запиши, — сказал я вслух. — При всех.

Рита записала — не отходя от тетради, вслух, повторяя: «День пятый. Дыхание — тридцать. Сеть увидена». Мо, стоявшая у плиты, даже не обернулась — она слушала, как ее стены, то есть лучше всех нас.

— Сеть, — сказала Мо, ставя чайник. — Одна строка ходит — это слух. Сто строк ходят по маршруту — это сеть. Сети не вычеркивают, сети провожают до конца и смотрят, куда пришли. — Она обернулась и вытерла руки о передник, медленно, дважды, в одну сторону: дело серьезное, но не крикливое. — Завтра к границе пойдешь ты один, дублер. Не смотреть — слушать. Крюк считает дыру, а ты спроси у него, что он слышит между тридцатью секундами.

— А Соня? — спросил я.

— Соня завтра спит, — сказала Мо. — Счетоводка, которая не спит, считает во сне — а сон, как известно, черновик, который бумага отклонила. Не будем печатать ночное. — Она посмотрела на Соню уже мягче: — Спи, счетоводка. Дневного счета хватит на всех.

Соня кивнула. Я кивнул. Лег спать при свете, как все теперь, — лампа на подоконнике, вторая на крыше конторы горит сама, графа «каждую ночь» не терпит пропусков. Засыпал, пересчитывая: тридцать, тридцать, тридцать. Ритм шел сквозь сон — и где-то между счетами мелькнула мысль, короткая, как вспышка кинокамеры: если город учит раздачу наизусть, то кому он ее потом раздаст?

Вопрос арки сместился. Я заснул на нем — как засыпают на натянутом тросе: спишь, но трос держишь.

Глава 6. «Семь секунд»

Запись пятая. День шестой. Сегодня пишу досье Первого — не заготовку, а досье. Рита сказала: «Половина досье — тоже документ, если половину подписали». Я спросил, кто подписывает половину. Она сказала: «Тот, кто пишет». В этой конторе, сэр, даже утешения идут по графам.

ДОСЬЕ №1. ПЕРВЫЙ НИТЕВОД.

Графа «Приход». Известно: семь секунд. Семь секунд, которые он внес первым взносом, — на них небо держалось три года рассрочки. Не понимаю пока физику: как семь секунд держат небо три года? Но и лампочка Гаффера гудит без проводов, а я перестал задавать вопросы, на которые есть ответ «потому что держали».

[зачеркнуто: семь секунд чего? Времени? Неба? Семь секунд — это же ничто. Человек не успевает] Остановился. Не «ничто». Человек не успевает сказать «все» за семь секунд — а он успел внести. Вот, сэр, в чем ответ: он внес за семь секунд то, на что другие уходят годы. Значит, до взноса он уже был готов. Значит, цена была решена до кресла. Такие цены, боюсь, не выбирают. Их узнают.

Графа «Рассрочка». Три года с Раскола город платил дырами. Дыры — не раны. Дыры — проценты. Записал дословно, со слов держателя: он сказал это так, как говорят формулы, — медленно, чтобы не ошибиться. Я переписал дважды. Формулы, переписанные один раз, съезжают.

Три года процентов. Считаю, как смогу: семь секунд первого взноса, три года рассрочки, процент — дыры. Сколько дыр в городе, сэр, я не знаю. Графоман знает лучше всех, но он считает их по-старому, по разводам, и его число каждый раз другое. Оставлю графу «сколько дыр» пустой. Пустые графы — тоже счет: они говорят, кто еще не пришел с ответом.

Графа «Расход». Все. Записано одним словом в реестре, и вот тут, сэр, я писарь, а не поэт: одно слово «все» — это не расход. Это неподписанный расход. Расход состоит из граф, графы — из единиц. Каковы единицы «все»? У Коллекционера были смерти — считал. У Нины — дни — считал. У третьего — неплатеж, но и тот подал в очередь за числом. А здесь: «все». И подписи нет. Строку, которую не можешь подписать, в архив не сдают — учил меня я сам, год назад, и вот она вернулась, моя же инструкция, как все хорошие инструкции.

[здесь перо стояло долго. Сижу второй час. Писать дальше.]

Писал дальше, к сведению будущего читателя этой тетради (а читатель будущий — это я, послезавтра, он всегда злой): пошел не по графам, а по людям. Спросил Мо. Мо сказала: «Первого я не застала. Гаффер не застал. Мой старший брат, сиротский, помнил крыши с провалами и мамкин голос: «небо дышит, дети, считайте!». Записал. Спросил графомана. Он сказал: «Сэр, я веду счет города со стороны воды, а Первый — со стороны неба. Мы не пересекались. Но в моем блокноте двадцать лет стоит одна и та же графа — «кто платит за небо» — и двадцать лет в ней одна пометка: «не мы». С прошлой недели, сэр, пометка изменилась. Теперь там: «не мы пока!». Записал и это. Графоман, сэр, — единственный счетовод этого города, который обрадовался неизвестности: он сказал, что двадцать лет ждал расхождения и вот оно, родное.

Графа «Статус». Касса. Распластан по подвалам — формулировка держателя, дословно. «А я — без» — собственные слова, которыми он принял счет. Вот сюда, сэр, подхожу к строке, которую не могу подписать, и объясню, почему. Слово «без» я слышал от кассы сам, неоднократно, вслух, при свидетелях. Но в тетрадях конторы нет ни одной строки, которую можно было бы назвать досье кассы — проверял, раздел о кассе, трижды. И вот теперь слово «без» стоит в досье Первого, а Первый, по реестру, — касса. Получается, я написал о кассе досье, не написав о кассе ни слова. Так пишут, сэр, когда пишут про человека, которого нельзя описывать напрямую. Так писали про царя писари старой школы — обходили кругом, и получался портрет из тени. Я писарь новой школы, но тень эта мне знакома: я сам тридцать лет был расходом в чужом досье.

Без — без чего? Записал вопрос и оставил строку открытой. Три графы пустые: «чего», «кого», «сколько». Знаю, что некрасиво — три пустые графы подряд. Но пусть лежат. Дыра, отмеченная честно, лучше строки, придуманной для красоты. Красота, сэр, — это тоже счет, и ведут его люди, которые боятся пустых граф.

Запись пятая с половиной, вечерняя. Досье не закрыто. Глава досье кончается недописанной строчкой — вот она, перед вашими глазами, без подписи: «Первый заплатил за небо тем, что —».

Точка. Дальше слова нет. Я перепробовал все, что есть в тетрадном ящике: тем, что любил. Тем, что берег. Тем, что было. Ни одно не легло, потому что ни одно не называет единицу. Семья — вот единица, которую все называют и никто не считает. Пока не считает. Я полагаю, сэр, вся эта книга от начала до конца — попытка посчитать эту единицу. Полагаю и откладываю. Писарь, который полагает вслух, кончается как газета: уверенно и неверно.

Спросил Кэба — он проходил мимо лотка с Петрухой, перебирали ремни. Спросил, как у постановщиков пишется слово «все». Он не удивился вопросу — Кэб вообще не удивляется вопросам, он встречает их как встречают падения: смотрит сверху вниз и заранее знает, где ляжешь. Сказал: «Все — это когда после дубля не отстегиваешь страховку, потому что некому. У человека — все. У площадки — никогда: у площадки всегда есть мешки следующего дня». Помолчал и добавил то, что говорят, когда фраза весит больше сказанного: «У этого города, я смотрю, мешки кончаются». Петруха, подтверждаю, записал это в свой журнал — он записывает теперь не только клеи ботинок.

Отнес половину досье Рите. Она прочла молча — читает она медленнее меня, но помнит быстрее, — поставила в бордовую тетрадь, в ту самую, которую никому не показывает, и ска-

зала: «Хватит». Потом добавила то, что говорит редко: «Половина, которую нельзя подписать, — лучше целой, подписанной чужой рукой. Сдаю в архив». Спросил, страшно ли ей — хранить досье, которое без подписи. Она сказала: «Страшно — это когда некому переписать. А у меня есть ты». Я, сэр, тридцать лет был черновиком, и вот первая строка, в которой моя черновость названа вслух — а звучит она как должность. Работаю. Не буду плакать — писать. Сдала. Досье лежит у нее, и завтра держатель прочтет его при всех — я видел, как он взял тетрадь, и лицо у него было то, каким бывает у людей, которые получили посылку без адреса и знают, что она их.

Ночью, до лотка, перечитал кассин журнал — она принесла на переписку, как учим: две руки, два экземпляра. Окна треснули ночью четвертого дня: старая сводка вместо новой, два допуска вместо одного. Я спал в трещиноватую ночь и узнал о трещине по перу — оно не дрогнуло ни разу, записываю честно. Графоман весь день ходил как человек, у которого вычитали небесный свод: «Сэр, двадцать лет я сверял эти окна с водой, и вода, сэр, воде — регламент. А небо, выходит, регламенту не подчиняется». Я его записал. Ровно за этой фразой в моей тетради легла строчка, которой не было: «Не подчиняется — значит, боится». [зачеркнуто: кто боится — тот живой] Не мое. Писать, что видел. Видел: графоман не побоялся. Страх у него вычли вместе с уверенностью — осталось чистое любопытство, а любопытство, сэр, — это счет без процентов: растет сам и ничего не требует.

А я вечером сижу у лотка. Лампочка гудит «ля», ровно, без пауз. Спрашивал у нее, сколько весит слово «семья». Гудит «ля» — вопрос, видимо, не по адресу, или адресат молчит из тех же соображений, что и я: не знает единицу. Записал вопрос без ответа. Вопросы без ответов, сэр, — тоже счет. Они показывают, где кончились наши графы.

Завтра держатель скажет свое первое «нет». Я не знаю, какое оно будет — я больше не пишу первым. Но тетрадь я открою заранее. Рядом писать — значит быть готовым к чужому голосу раньше, чем он прозвучит. Так учила восьмая. Так держимся.

Глава 7. «Нет»

Досье лежало на столе три часа, и все эти три часа контора делала вид, что работает.

Я понимал ее. Я сам делал вид: ходил от окна к окну, проверял лампы — все горели, горят уже неделю без пропуска, — разговаривал с Кэбом о ремнях, с Петрухой о клеях ботинок в траве у стены. Крюк с полудня считал на границе — в линейке дня, между тридцатью четырьмя секундами, тоже было место для моей нерешительности. Соня сказала вдруг, глядя в окно:

— Тени сегодня ходили быстрее. Сеть учится у нас, ангел. Мы сегодня нервничали — она сегодня нервничает.

Я кивнул. Перед тем как сесть за стол, я подошел к окну, к Соне. Она знала, зачем я подошел, — она всегда знала, зачем к ней подходят, за минуту до того.

— Я скажу «нет», — сказал я. — Первой цене. Семейей платить не стану.

— Знаю, — сказала она. — Ты пришел спросить, правильно ли. — Она помолчала, подбирая слово, как всегда, по одному. — Я считаю тени, ангел, а не правильность. Правильность считает город. Но я скажу, что вижу: у тебя тень одна, и она идет за тобой, а не впереди. Значит, платишь ты сам, не за чужого. Для этой конторы — правильно.

— А для книги?

— Для книги я не считаю, — сказала Соня. — Книга — не тень. Она — то, от чего тени ходят.

К полуночи я сел за стол.

Досье принес Черновик, в бордовой тетради Риты — так и не подписанное, с точкой вместо последнего слова. Рита читала его мне вслух, при всех. Таков был порядок, который мы выработали еще в ту пору, когда книга впервые начала тяжелеть: ничего о книге — не молча, ничего о счете — в одиночку.

— «Досье первое. Первый Нитевод», — читала Рита. — «Приход: семь секунд. Рассрочка: три года, проценты — дыры. Расход: все. Статус: касса».

Она читала ровно, как читают реестры, но я слышал, как контора слушает: Соня у окна замерла с неподнятой рукой, Черновик стоял у стены, как стоял тридцать лет, — вплотную, будто стена держалась на нем, а не он на стене. Мо мешала чайник, не разливая.

— Цена известна, — сказал я. — Первый заплатил семьей. Семь секунд он внес тем, что любил.

— Полного описания нет, — сказал Черновик. — Три графы пустые. Я не могу подписать единицу.

— Знаю, — сказал я. — И не надо подписывать за меня.

Я открыл книгу. Она лежала на графе «Расход:» и ждала — книги умеют ждать, они терпеливее людей, у них нет мочевого пузыря и совести. Я положил ладонь на страницу. Тепло было привычное, рабочее.

— Я не плачу семьей, — сказал я вслух.

Контора не вздрогнула. Я сказал еще, потому что сказанное раз — это еще не «нет», а просто фраза, а «нет» должно стоять как мешки:

— Нет.

Книга приняла слово — я почувствовал, как оно легло, строчкой, моим почерком, который я не писал. «Нет», — теперь это лежало в ней навсегда, первая строка в графе, которую контора открыла вчера и которую Рита уже успела назвать в своей серой тетради. Я слышал за спиной, как Рита пишет: «День седьмой. Нет — первое».

И тут книга сделала то, чего не делала ни разу за все время, что я ее вел.

Под моей строчкой, не моим почерком — ровным, чистым, как печать в паспорте, — проступила строка:

«Чем?»

Я убрал руку. Строка осталась. Черновик подошел ближе, наклонился — и я впервые видел, как писарь отодвигается от чистого листа: он сделал полшага назад и сказал тихо:

— Этой строки не писал никто.

— Вижу, — сказал я.

— Я имею в виду, — он сглотнул, — никто из нас. Из живых. Почерк не мой, не Ритин, не держатель. Я знаю все руки этой конторы. Эта рука — не наша.

— Опиши ее, — сказал я. — Как досье. Ровно.

— Ровная, — сказал он и криво усмехнулся. — Как чек. Я опишу. Почерк, который пишет вопросы, сэр, — это почерк того, кто привык, что на его вопросы отвечают.

Мо поставила чайник и сказала то, что положено говорить дверям, когда в комнате появляется новый голос:

— Вопрос записан. Отвечать не обязан. Кто спросил — тот подождет.

— Книга не ждала никогда, — сказал я.

— Книга ждала всегда, — сказала Мо. — Просто ты заметил. — Она обвела нас взглядом. — Свет не гасим. Ночь теперь наша. А завтрашний обед будет вовремя, потому что паника, сэр, сытой не бывает. Ночь — ночью, а обед — по расписанию.

Ночь была наша. Контора сидела при свете до рассвета — не потому что боялась, а потому что таков был наш ответ на вопрос, который никто не писал: мы остались при лампах. Рита переписывала досье в третий экземпляр. Черновик писал рядом — я видел, как он дважды открывал тетрадь на «Чем?» и дважды закрывал: писать рядом можно многое, но не строку, которой нет в твоей графе. Соня спала два часа у окна, и тени за окном ходили мимо как ни в чем не бывало — сеть продолжала учить дорогу, ей было не до наших «нет».

Кэб принес в полночь мешки — не разгружать, а «держат при нас», как он сказал: «Если вопросы лезут из книг, Браун, пусть видят, что у нас все калиброванное». Петруха поставил

у двери два карабина, завернутых в промасленную бумагу, — я не стал спрашивать, зачем. В этой конторе некоторые решения принимались без обсуждения, и они всегда оказывались правильными: так работает бригада, где страховку не отстегивают.

Графоман пришел на рассвете — его позвали с моста, он примчался в одном воротнике. Выслушал, посмотрел на строку, помолчал и сказал то, что говорят счетоводы вместо ругательств:

— Книга спросила. Знаете, что это значит, сэр? Это значит, она больше не фиксирует. Она ведет диалог. А диалог, сэр, — это когда оба считают.

— Тогда будем считать громче, — сказал я.

Он кивнул, открыл блокнот на свежей странице и замер: страница за ночь заполнилась сама — не вся, но ровно настолько, чтобы графоман присвистнул и сел.

— Входящие, — сказал он. — Шесть штук за ночь, сэр. Обычно за ночь — одна, реже ноль. Я не буду записывать это как расход. Я запишу это как то, чему у меня нет графы. — Он помолчал и добавил уже свое: — Книга спросила вас, а ночь ответила ей сама. Вот, сэр, что значит живой город: в нем даже входящий поток умеет вступать в разговор.

Утром Рита вписала в серую тетрадь итог: «День седьмой. Нет — первое. Книга спросила: «Чем?» Ответ не внесен». Потом добавила строку, которую вписывает, когда счет идет не по ее графам: «Входящий поток ускорился. Графы нет. Отметила». Черновик принес мне свое описание почерка вопроса — короткое, в три строки, без единой зачеркнутой: он, видимо, писал его до рассвета, пока не вышло ровно. Так делают писари, когда боятся того, что описывают.

Я позавтракал у Мо — обед был вовремя, как и обещано, — и пошел спать при свете. Засыпая, думал о вопросе. Хороший он был, в самую точку: я отказался от чужой цены, и книга этим не смутилась — она просто открыла чистую графу и ждала. Кто считает вслух — того не вычеркнуть. А кто отвечает вслух — тот вносит.

Я еще не отвечал. Двадцать два дня оставалось не отвечать — и все двадцать два я знал, что ответ, как обычно в этой бухгалтерии, узнаю позже, чем захочу, и раньше, чем буду готов.

Перед сном я перебрал оставшиеся три цены — как перебирают мешки перед большим дублем: по очереди, не задерживаясь. Нина заплатила тридцатью годами себя — по дням. Третий не платил вовсе. Коллекционер платил смертями. Три цены, и каждая лежала в своей графе, как лежат чужие страховки в чужих шкафах: трогать можно, примерять нельзя. Я подумал о стороже за гаванью, у которого лежало единственное, что от Нины осталось на виду, — ее имя. Имя, которое никто не произносил три года, кроме нас. Две недели у нас еще было до этого разговора — я тогда еще не знал, что он будет. Но досье уже лежало на столе, и табличка «Самообслуживание», как сказала бы касса, висела на двери этого досье заранее. Я заснул, перебирая: семья — нет. Дни — ? Неплатеж — ? Смерти — ?

За дверью, до самого утра, контора считала вслух. Я засыпал под этот счет, как когда-то засыпал под гул верхних дорог, — с тем только различием, что верхние дороги никогда не спрашивали, чем я собираюсь платить.

Глава 8. «Ночь давления»

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, день восьмой]

Дыхание, утро: тридцать. Подтверждено двумя счетчиками: Крюк снял на границе до рассвета, журнал подтвердил у кабинки после. Между нами, сэр, с этой цифрой все честно: ступень сорвана по расписанию, а не по панике. Расписание страшнее паники. Паника кончается, а расписание доводит до конца.

Крюк сдает смену так, как сдают инструмент: отметил, подписал, отошел на три шага. Спросила, устал ли. Сказал: «Первый день, когда считаешь за двоих, не устает. Первый день — радостный». Отметила. Будут и второй, и третий — радость у счетчиков кончается раньше,

чем цифры. Хорошо, что он не знает. Люди держатся на незнании ровно столько, сколько нужно, чтобы держаться.

За день, дневное: обход краев по графику. Сегодня ходили Соня с Черновиком — она смотрит, он пишет, пара, как мы с графоманом, только помоложе. Вернулись с одной строчкой: сторожка за гаванью горит огоньком, сторож на пороге, считает вслух прохожих, хотя прохожих нет. Черновик записал его слова дословно: «Раз. Два». Это не слова, сэр, это работа: кто считает пустую дорогу, тот держит ее от пустоты. Отметила сторожу по заслугам: три года он держит имя Нины, как я когда-то держала дыры — один на один. Между нами, кассами этой истории, завязался уже целый узел: мы все держим что-то одно, и все одно — чужое.

За день: способ ушел по руке и имени, при свете, при свидетелях. Держатель передал, человек принял, оба сказали вслух — я была рядом, грела чайник у лотка, видела. Каждая передача — строчка. Книга тяжелеет ровно на вес строчки, а строчки, сэр, легки, пока их немного. Я считала вечером на ощупь: вес книги не пугает. Пугает скорость, с которой тяжелеющее становится привычным. Все опасные вещи, сэр, сначала становятся привычными, а уж потом опасными.

Спросила у держателя, видит ли он, что поток ускорился. Сказал: «Вижу. Фон, не цифра». Записала словосочетание: «фон, не цифра». Точное. Входящие сейчас — как дыхание за спиной: не считаешь, а оно считает тебя.

[ДЕЖУРНАЯ КАССА — журнал осмотра, ночная]

Ночь давления. Пишу по ходу, строки короткие, рука — моя, свидетели — есть.

Твари двинулись в полночь. Не рывком — шагом, как движутся те, кто три года ждал разрешения. Первый ряд прошел десять шагов и встал. Встал — и стоит. Записала: они пробуют не стену. Они пробуют нас. Стена отвечает сама, а вот нас надо проверить.

Игроки за ними — ряды не дрогнули. Рукава длинные, лица — не смотрела, сэр, лиц мне не записывать, это не моя графа. Записываю только, что они стоят лицом к городу. Всю ночь — лицом к городу. Помните их прежние ночи: лицом к стене. Перевернулись, сэр. Не нападая — перевернулись.

Крюк считает вслух. Слышно из кабинки: тридцать, тридцать, тридцать. Темп не сорвал ни разу. Отметила за него: когда счетовод не срывается в ночь давления, он больше не счетовод — он граница.

Кэб привел бригаду к полуночи — не к стене, к свету: фонари вдоль края, мешки у постов, как положено. Стояли всю ночь. Площадка, сэр, — это тоже стена, только с калькуляцией. Петруха ходил между постами с журналом и пересчитывал фонари: сорок семь из сорока семи. Я слышала его отчет Кэбу из кабинки: «Свет весь. Считается».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.